

Иван Иванович Лажечников

Новобранец 1812 года

События «громового 1812 года» послужили переломным моментом в жизни и творчестве Лажечникова. Много позже в автобиографическом очерке «Новобранец 1812 года» (1858) Лажечников расскажет о том, какой взрыв патриотических чувств вызвало в нем известие о вступлении французов в Москву: оно заставило его бежать из дома, поступить вопреки воле родителей в армию и проделать вместе с ней победоносный путь от Москвы до Парижа.

И.И.Лажечников. «Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания», Издательство «Советская Россия», Москва, 1989

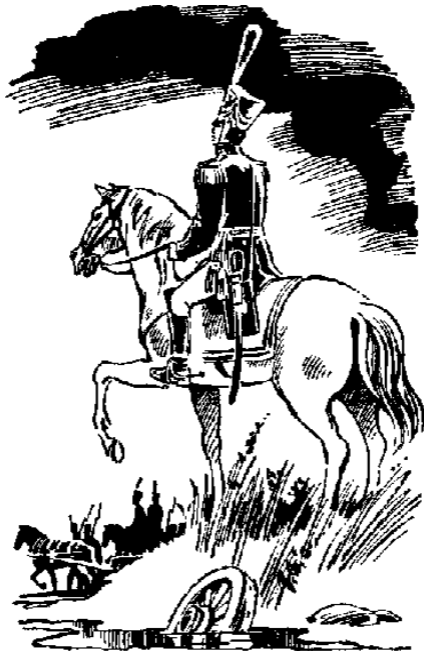
Художник Ж.В.Варенцова

Примечания Н.Г.Ильинская

Впервые напечатано: Лажечников И.И. Полн. собр. соч. М., 1858. Т. 1.

Печатается по тексту этой публикации.

Иван Иванович Лажечников
Новобранец 1812 года
(Из моих памятных записок)



В роковые двадцатые числа[1] рокового 12-го года находился я в Москве. Вышедши только что из-под опеки гувернеров, Messieurs Beaulien⁽¹⁾ и маркизов Жюльекуров, еще недавно архивный юноша, проглотив-

ший с двенадцатилетнего возраста не мало пыли при разборе полустгнивших столбцов, перешедши потом в канцелярию московского гражданского губернатора Обр.[2], по приглашению его, для узнания службы, я, однако ж, оставался в Москве не по служебным обязанностям. В то время дана была каждому воля идти на все четыре стороны. Паспортов не выдавалось, потому что все дела канцелярии были выпровождены на Владимирскую дорогу. В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят верст от Москвы, к стороне Коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев, и юношей. Порою рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка, отважная выручка. Не скрою, что порой прельщали меня и красный мен-

тик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви. Но увы! мои надежды недолго тешили меня. Вместо ожидаемого разрешения, получаю от отца приказ немедленно к нему явиться. Я плакал как ребенок, но скоро одумался. «Чего б ни стоило, — сказал я сам себе, — я буду военным, хоть бы солдатом». Мыслью уже послушник воле родительской, я тотчас сделался послушником и на деле, и не очень спешил выехать из Москвы.

Уже дошла до нас весть о Бородинской битве: все, что делалось в армии, было через несколько часов известно в Москве; каждое биение пульса в русском войске отзывалось в сердце ее. Многие купцы содержали по пути к месту военных действий конных гонцов, которые беспрестанно сновали взад и вперед. Два исполина дрались с ожесточением: француз шел, очертя голову, в белокаменную, и хвалился перед миром победой; русский, истекая кровью, но готовый лучше умереть, чем покориться, сильный еще силою крестного знамения, любви и преданности к государю и

отечеству, шел отстаивать святые сорок сороков матушки белокаменной, пока не положит в виду ее костей своих: *мертвые бо срама не имут.*

Но — в военном совете Кутузова решено было сдать Москву без боя. Настали дни скорбные и вместе великие. Москвичи, не помышляя более о спасении своих домов, думали только честно покинуть их. Кажется, в одно время в сердце народа и в голову великого полководца пала мысль, для блага России, принести на алтарь ее в жертву первопрестольный город. Один, для исполнения своих высших планов, замышлял отдать Москву; другой замышлял сжечь ее, в случае сдачи неприятелю и тем очистить ее от поругания нашествия. Так в дни Божии избранники Его и народ понимают друг друга и действуют согласно, не поверяя друг другу своих намерений. В эти дни я слышал нередко, от купцов, извозчиков и моего дядьки, что, в случае сдачи Москвы, наши готовятся спалить ее дотла. «Не доставайся ж, матушка, неприятелям». И потому, если мое свидетельство может что-нибудь прибавить к показаниям историков

12-го года, считаю долгом засвидетельствовать, что пожар московский был просто следствием народного побуждения. Тогдашний градоначальник Растопчин, отгадав это побуждение, не только не мешал, но даже содействовал ему, — вот что надобно еще прибавить. Кому принадлежит честь этого подвига — судите сами.

Высокое и трудное бремя нес тогда Растопчин. Надо было в одно время поддерживать пламенное усердие к делу общему, ослаблять уныние, возбуждаемое вестями о скором нашествии неприятеля, и усмирять народные порывы. Редки, однако ж, были случаи вмешательства черни. Видны были кое-где грязные лица, которые заглядывали в повозки, отъезжавшие из Москвы, и провожали удалявшихся именем *изменников*... В то же время оставшиеся в столице, большею частью отцы семейств, старики, женщины и дети и торгующий класс, покидали стены ее, хотя не без тревоги, однако ж, безопасно.

Для исполнения своих благоразумных видов градоначальник бросал каждый день в пищу народу свои животрепещущие посла-

ния, столько известные, и народ, с жадностью хватая их, не только успокаивался, но и обращал свои помыслы к благому — защите города. Вскоре, однако ж, представилась жертва сама собою. Безрассудный В[ерецагин], сын купца, отмеченный молвою как изменник, был обхвачен буйством толпы и заплатил жизнью за свой поступок[3]. Накануне видел я В[ерецагина] в кофейной на Никольской, тогдашнем фойе всех политических и не политических новостей. Можно вообразить, что я чувствовал, узнав на другой день об его участи.

Между тем как дядька мой устраивал дорожные сборы, поехал я за город, к Филям и на Поклонную гору, куда народ стекался смотреть на пленных французов, взятых в деле бородинском. Солнце уж западало, но, далеко не доходя до земной черты, скрывалось в туманном горизонте, который образовали жар и пыль, поднятые тревожною жизнью города и еще более тревожною жизнью между городом и отступающим войском. В Филях нашел я действительно много пленных разнородных наций. В речах и поступках своих фран-

дузы казались в это время не пленниками нашими, а передовыми *великой армии*, посланными занять для нее квартиры в Москве. На Поклонной горе особенное мое внимание привлек к себе многочисленный кружок, составленный, большею частью, из купцов, мещан и крестьян. В середине толпы стоял мужчина, довольно высокий, плечистый; лицо его казалось вдохновенным, голос звучал знойно, энергично. За толпою, тесно окружившей его, я не мог слышать его речи, обращенной к народу, но до меня долетали по временам слова его, глубоко западавшие в грудь. Толпа, творя крестное знамение, повторяла с жаром его последние слова: «За батюшку царя и Русь православную, под покров Царицы Небесной!» Я узнал, что это был Сергей Николаевич Глинка[4], ревностный сподружник московского градоначальника в тогдашних его подвигах на служении отечеству. С каким благоговением смотрел я на него! Он известен мне был заочно, как издатель «Русского вестника», поощривший мой первый литературный лепет: поместив в своем журнале мою *военную песнь* и напечатав под нею мое

имя, он сделал меня на несколько дней счастливым. Мое восторженное сердце поклонялось тогда всем современным знаменитостям. Увидеть Карамзина было одним из самых пламенных желаний: сколько раз собирался я идти к нему, чтобы положить перед ним мой сердечный поклон! Раз в театре мне указали его; он был с женой в креслах. Во все представление я не видал ничего, кроме Карамзина; когда, во время антракта, он вставал, я устремлял на него так пристально глаза, что он раз улыбнулся и, перешептываясь с женой, указал ей осторожно на меня. В последовавшую затем ночь я не спал от блаженства, что видел великого человека и был им замечен. С Сергеем Николаевичем Глинкою знаком я был впоследствии. Дивная была эта личность! Он содержал пансион, в котором воспитывались дети богатых донцов, в том числе и сын Платова. Золото обильно лилось в его карманы, между тем не было у него часто копейки за душою. Выходя из дому с деньгами или из книжной лавки, куда он являлся для получения денег на крайние домашние нужды, он возвращался бедный, как Ир, и все-

гда довольный. Часто, когда нечего ему было дать просящему у него бедняку, он отдавал ему что попадалось под руки — носовой платок, шейный, жилет, пустой кошелек, книжку... Он почти всегда ходил пешком, если же брал извозчика, то самого худого, которого, вероятно, нанимал для того, чтобы ему помочь. Заметен он очень был тем, что ходил в самые жестокие морозы в сюртуке на вате. Весь московский люд знал его; я видел часто, как извозчики на биржах кланялись ему в пояс, а многие проезжавшие мимо снимали перед ним шапки.

Когда я выехал из Филей, по Смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожнялись стаканы и кувшины с квасом и медами; продавцы распоряжались добром своих хозяев как своею собственностью, не только

не боясь взыскания, но еще уверенные в крепком спасибо; восклицаниям сердечного участия, благословениям, предложениям услуг не было конца. Облако пыли большею частью заслоняло это зрелище, и только изредка, когда ветерок смахивал ее или густой луч прорезывал, видно было то добродушное лицо бородача, который подавал свою лепту, то лицо воина, истомлённое, загорелое, покрытое пылью, то печальные черты старушки, которая, облокотясь на телегу, спрашивала о своем сыне-служивом. В один из этих просветов пал на меня болезненно-унылый взор раненого офицера. Ему могло быть лет двадцать пять с небольшим; смертная бледность покрывала прекрасное и благородное лицо его; одна рука была у него в перевязи, другою опирался он за задок телеги, где лежало несколько солдат. Невольное чувство увлекало меня к нему. «Неужели не сыскалось для вас повозки?» — спросил я его. «Была, — отвечал он, — но случились раненые тяжелее меня... Слава богу, я могу еще дойти». При этих словах с трудом приподнялся из телеги один из солдат, лежавших в ней, и сказал со слеза-

ми на глазах: «Его благородие — наш ротный командир; нам четверым раненым было тесно в одной телеге... он уступил нам свою». Тут он не мог продолжать и опустился на повозку.

Возвратившись домой, я стал собираться в путь, к отцу в деревню. Квартира моя была на Сретенском бульваре (помнится, в доме профессора Горюшкина), подле узорочного дома с садом, где хозяин, старый инвалид, причудливо устроил гауптвахту, поставил деревянную батарею и солдат, не сменявшихся со стражи. Он и на покое, в городе, не хотел расстаться с военной жизнью. Старожилы, конечно, запомнят этот дом, которого ни один проезжий не миновал, не полюбовавшись на игрушечный лагерь. После моего отъезда с квартиры, где я жил, занял ее раненый офицер Франк с рядовым Ишутиным. Выписываю страничку об этих лицах из моих походных записок: «По окончании Бородинской битвы, когда смерть утомилась над бесчисленными жертвами своими, раненый рядовой 2-й роты сводного гренадерского батальона, Никифор Ишутин, присоединяясь к роте своей, шел отдаленно

за нею с поля сражения. Вдруг слышит он за собою слабые стоны, которые, казалось ему, звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен к неприятелю, расставлявшему в виду его свои пикеты, он возвратился на то место, откуда доносились звуки замирающего голоса. Там нашел он роты своей прапорщика Франка, плавающего в крови от полученной им тяжелой раны пулею в ногу. „Бог принес меня к вашему благородию, — сказал он, — дам ли я неприятелю ругаться над вами?“ Несмотря на собственную боль, он втащил офицера на плечи свои и готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издали его усилия, присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С этого времени Ишутин не отходил от больного Франка; в продолжение отступления достал ему повозку с лошадью, перевязывал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы он не расстался с умирающим офицером. Все, что они претерпели в пребывание неприятелей в древней столице нашей, не

может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором нашли они себе покойный уголок, предан был пламени. Верный Ишутин вынес Франка из огня на плечах своих, как новый Эней отца своего Анхиза[5]».

Я простился с Москвой, как прощаемся с родною, которую опускаем в землю. При выезде из заставы я приобрел себе дорожных товарищей, шесть или семь дюжих мужичков. Они не преминули упрекнуть меня за оставление первопрестольной столицы, и если б не быстрота лошадей в моей повозке, мне пришлось бы плохо. Мой геройский дух снова был озадачен в Волчьих воротах жалобными криками умирающего... На заре, под Островцами, я сошел с повозки и мимоходом взглянул в часовню, которая стояла у большой дороги. Вообразите мой ужас: я увидел в часовне обнаженный труп убитого человека... Еще теперь, через сорок лет, мерещится мне белый труп, бледное молодое лицо, кровавые, широкие полосы на шее, и над трупом распятие...

На берегу Москвы-реки, в виду сельского крова, под которым провел я лучшие лета мо-

его детства, встретили меня родные со слезами радости. В ожидании меня — сколько страху испытали они: не попался ли я в плен французам, не убили ли меня недобрые люди!

Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелями. Ожидали этого известия, а между тем оно судорожно пронеслось по всем классам народа. Таков уж русский народ: он так уверен в своей силе и всякий неуспех приписывает или фатализму, или измене. Много нелепых слухов распускали по святой Руси люди несведущие! А говорили это именно тогда, когда знали, что к концу Бородинской битвы капитаны командовали полками, когда каждый из наших генералов творил в ней чудеса храбрости и кровью платил любовь свою к отечеству. Недаром Бородинская битва названа битвой генералов.

В первый вечер, следовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разостлалось по небу багровое зарево: то горел, за восемьдесят верст от нас, первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько

дней сряду, каждый вечер, Москва развертывала для нас эту огненную хоругвь. При свете ее сельские жители собирались толпою перед господским домом или перед церковью, молились и вздыхали о потерянном Сионе. Тяжким свинцом пало уныние на душу нашу; казалось, все ждали последнего часа. Поплакав несколько дней над пеплом Москвы, стали, однако ж, думать о спасении своем. Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы в виду его спалить свои жилища. Имущество поценнее хоронили в погребах, под овинами и под клетями, в лесах, но топоры и косы приберегали на случай под рукою. Стали к нам приближаться переселенцы с тех мест, которые занял уже неприятель. Толпы, большей частью дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам освещаемое кострами, воздвигаемыми из собственных домов. Где могло остановиться это переселение? Никто не ведал; знали только, что к восходу солнечному, к Сибири, шел народ. В эту тяжкую годину все делились между собою, как

брatья; каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин; многие богачи сравнялись с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одолжал вчерашнего богача. Все это казалось, в годину общего бедствия, делом очень обыкновенным.

В это время стал я проситься вновь у родителей своих вступить в ряды военные, и опять напрасно.

КазакИ прискакали с вестью, что французы скоро появятся. В казенном селении Новлянском, на противоположном от нас берегу Москвы-реки, ударил роковой набат: это был народный сигнал зажигать свои дома. К счастью, тревога оказалась ложной, и селение уцелело. Но как неприятель действительно перешел уже Бронницы (в 27-ми верстах от нас), то мы и решились подобру-поздорову выбраться из своего гнезда. Меня повезли, как пленника; по крайней мере, я считал себя таким. Я помышлял уже освободиться из этого плена, но покуда не видел к тому возможности. Перед Коломной присоединился к нам огромный караван помещиков с их домочадцами. В числе последних была стая собак, с

которыми владелец их, чужак и охотник страстный, не хотел расстаться.

Мы приехали в Коломну. Это моя родина. Горжусь ею, потому что в ней родился один из знаменитейших духовных сановников и проповедников нашего времени (Филарет[6], митрополит московский и коломенский). Сколько воспоминаний о моем детстве толпилось в голове моей, когда мы въехали в Запрудье! Предстали передо мною, как на чудной фантазмагорической сцене, и вечерние, росистые зори, когда я загонял влюбленного перепела на обманчивый зов подруги, и лунные ночи на обломке башенного зубца, при шуме вод смиренной Коломенки, лениво движущих мельничные колеса; ночи, когда я воображал себя на месте грустного изгнанника, переселенного Грозным из Великого Новгорода в Коломну[7]. Вспомнил я прогулку на козле и доброго француза-гувернера с длинною косою за плечами, которую вместе с головою своею вынес он из-под гильотины. Явились предо мною и ты, maître corbeau⁽²⁾, и вы, пламенные страницы Руссо, — которыми душа моя страстно упивалась, как дикий конь, вы-

пущенный из загона на широкую степь, — и вы, великие мужи Плутарха!.. Все это, и многое, многое, что глубоко бросило семена в сердце моем, прошло теперь мимо меня во всех радужных цветах очарования. «Кто идет?» — закричал караульный громовым голосом у ворот нашего дома, и очарование, спугнутое голосом часового, исчезло. Дом этот славился некогда роскошью своего убранства: везде паркеты из красного, черного и пальмового дерева, мрамор, штоф... В нем отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося XVIII века

*из стаи славной
Екатерининых орлов.*

Теперь помещалась в нем артиллерийская рота (впоследствии он был продан под трактир), и мы с трудом, в собственном нашем доме, могли найти уголок, где бы преклонить на ночь голову.

С рассветом были мы уже на дороге к Рязани. Близ почтовой станции (не помню названия деревни) расположили мы свой табор, для полдневания. Раскинутые по лугу бесчис-

ленные палатки, табун коней, оглашающих воздух ржанием своим, зажженные костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение — все это представляло зрелище прекрасное, но могло ли это зрелище восхитить нас? Я пошел с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к стационарному дому, возле него остановилась колясочка: она была откинута. В ней сидел — Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Немудрено... Отступление к Москве расположило еще более умы против него; кроме государя и некоторых избранников, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны до бородинской отчаянной схватки сберег на плечах своих судьбу России, охваченную со всех сторон еще неслыханною от века силою военного гения и столь же громадною вещественною силою. Но ропот тотчас замолк: его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор

полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по лицу его. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нем было то волшебное, неразгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отчета, чему они покоряются. Мне случилось видеть, как этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил войска к победе, как он одушевлял их при отступлении (из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему). Русский солдат, всегда недовольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря на своего предводителя, уверен был, что не побежден, а отступает ради будущей победы.

День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклай де Толли скинул фуражку, и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Дова[8] и пером Пушкина[9]. При этом движении разнородная толпа обнажила свои

головы. Вскоре лошади были готовы, и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла толпа на прежнем месте, смущенная и ошеломленная видением великого человека.

Не знаю, куда ехал тогда Барклай де Толли, но знаю, что 25-го сентября он был в Калуге. Оттуда писал он, именно этого числа, к графу Остерману-Толстому (у которого впоследствии был я адъютантом) письмо, чрезвычайно замечательное по тогдашнему положению бывшего начальника армии. В нем изъяснял он грусть свою, что расстался с русским войском, и приятную уверенность, что в нем остаются полководцы, которые поддержат честь русского имени.

Богатое село Дедново, в котором мы остановились на два дня, расположено на берегу Оки. Оно известно сколько промышленностью крестьян, столько и оригинальностью своего помещика Л.Д.Измайлова, осуществившего в себе тип феодального владельца средних веков. Такого рода дворяне ныне уже в России не существуют. Особенно было оживленно в Дедново в наш приезд, потому что в нем собиралось рязанское ополчение, которо-

го начальником был владелец этого имения. Лев Дмитриевич угостил нас по-боярски.

В Рязани пробыли мы недолго. Здесь вскоре узнали, что французам не поздоровилось в Москве и что они, как журавли к осени, начали потягивать на теплые места, и потому мы возвратились в Коломну.

Здесь я стал вновь проситься у родителей моих позволить мне идти в военную службу и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы ни стало, бежать из дому родительского и, как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерению моему нашел я скоро живое поощрение. В городе явился отставной (помнится, штаб-офицер) кавалерист Беклемишев, поседелый в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер Ардал., сын богатого армянина. Я открыл им свое намерение; старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собою.

За душой не было у меня ни копейки: коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее тайно... С этим богатством и дедовскою меховою курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал — сердце было у меня не на месте. В одиннадцатом часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руку; я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и два раза принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося господу простить мой самовольный поступок и облегчить горесть и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мною в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолившись еще раз, я

вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо их, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов в кремль, где жил Беклемишев, — и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы, — сказал он мне с неудовольствием, — я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома, да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивон был неумолим. «Воля ваша, — продолжал он, — задние сени в сад у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силою, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он то же сделает, в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменял упрек на мольбу; я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его. Но дядька был неумо-

лим. Делать было нечего; надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилил свои цепи и решетку у тюрьмы, готов был бежать, и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был, сквозь пролом древнего кремля, огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами в другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю

проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на земле и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижёр[10]. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня не достало бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесятеряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я пробежал задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз, мы сели в повоз-

ки и промчались, как вихрь, через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за 40 верст, потом в Островцах. Несколько раз дорогою, казалось мне, нас догоняют; в ушах отзывался топот лошадиный, нас преследующий; в темноте за мной гнались какие-то видения. Сердце трепетало в груди, как голубь. В Москву въехали мы поздно вечером. Неприятель уже оставил город: у заставы на карауле были изюмские гусары; они грелись около зажжённых костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были броситься целовать караульных, точно в заутреню светлого Христова Воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравлять друг друга: Россия была спасена!

Москва представляла совершенное разрушение; почти все дома были обгорелые, без крыш; некоторые еще дымились; одни трубы безобразно высились над ними; оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив

ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы. «Великолепная гробница! — сказал я, обратившись к московским развалинам. — В тебе похоронены величие и сила небывалого от века военного гения! Но из тебя восстанет новая могущественная жизнь, тебя оградит новая нравственная твердыня, чрез которую ни один враг не посмеет отныне перейти; да уверится он, что для русского нет невозможной жертвы, когда ему нужно спасти честь и независимость родины».

Мы остановились в селении Троицком (имении моего товарища Ардал.), помнится, верстах в трех от Москвы. В доме нашли мы величайший беспорядок; казалось, неприятель только что его оставил. Зеркала были разбиты, фортепиано разломано, уцелевшее платье, в том числе и мальтийский мундир покойного помещика, которое не годилось в дело, валялось на полу. В Троицком прожили несколько дней; здесь, казалось, укрывался я в совершенной безопасности от поисков. Мы ездили раз в Москву, посмотреть, что там де-

лается. Народ с каждым днем прибывал в нее; строились против гостиного двора и на разных рынках балаганы и дощатые лавочки; торговля зашевелилась. Дымились на улицах кучи навоза, зажженные для ограждения от заразы мертвых тел.

Нам с товарищами надо было еще объехать деревни Ардал., которые находились в Московской губернии, в ближайших уездах, помнится, Звенигородском и Дмитровском, и собрать оброки, потому что молодой помещик, отправлявшийся в армию, был совершенно без денег. Казалось, время для такого сбора, по случаю военной невзгоды, тяжело налегшей на эти края, было самое неблагоприятное. Напротив того, крестьяне этих уездов собрали богатую дань с неприятелей, взявших ее с Москвы: почти у каждого мужичка были деньги, серебряные или золотые часы, богатые материи, сукна, головы сахару и пр. Крестьяне везде встречали молодого господина с хлебом и солью и немедленно вносили ему оброк, даже часть вперед. Только в одной деревне они немного заупрямились, но мы, трое юношей (и на меня надели гусар-

ский ментик, и меня опоясали саблею), на сходке загремели саблями, и буйные головы немедленно с повинною преклонились перед грозными воинами, у которых еще ус не пробивался. Морозы уже наступали; раз, в дороге, желая согреться, я пошел пешком и, оставши от товарищей, едва не замерз в виду какой-то господской великолепной дачи, совершенно опустелой. Только что возвратились мы в Троицкое и собирались уже на другой день отправиться в главную квартиру армии (это было поздно вечером), как вбежал ко мне в комнату хозяин и объявил, что приехал мой отец. Не зная, что делать, я спрятался в людскую. Тут, подле меня, лежала на смертном одре какая-то старушка: я слышал предсмертный колоколец; первый раз в жизни видел я, как человек умирает. Лихорадка трясла меня, но не от этого зрелища, а от страху, что отец узнал мое убежище и приехал исторгнуть меня из него, чтобы вновь теснее связать мою волю. Но вскоре я услышал его голос, нежный, выходящий из любящей души: «Пускай покажется Ваня, — говорил он, — пускай придет; я его прощаю, я сам благословляю его на

службу». Тут, не колеблясь ни минуты, бросился я в его объятия, целовал его руки, обливал их слезами. С груди моей свалился камень. Это была одна из счастливейших минут моей жизни.

На другой день отец повез меня в Москву и представил беглеца московскому гражданскому губернатору Обрез., который возвратился в столицу с должностными чинами. (Он стоял тогда в Леонтьевском переулке.) Губернатор, в присутствии многих лиц, сделал мне строгий выговор, что я огорчил родителей своим побегом, но приказал, однако ж, тотчас выдать мне служебное свидетельство и вручил мне рекомендательное письмо к главному начальнику московского ополчения. Вскоре приехал я в московское ополчение офицером и через несколько дней был переведен в московский гренадерский полк. Счастье мне улыбнулось: начальник 2-й гренадерской дивизии, принц мекленбургский Карл[11], взял меня к себе в адъютанты.

Вот как 12-й великий год завербовал меня в свои новобранцы.

Комментарии

Господ Болъе (*фр.*)

[^^^]

2

господин ворон (*фр.*), персонаж из басни Ла-фонтена.

[^^^]

Примечания

1

В роковые двадцатые числа... — 20-е числа августа (по старому стилю).

[^^^]

Обрезков Николай Васильевич (1764-1821) —
друг отца Лажечникова.

[^^^]

Двадцатилетний Верещагин, обвиняемый в чтении воззвания Наполеона, 2 сентября был выдан Растопчиным толпе, пришедшей к нему как к главнокомандующему с требованием вести народ на врага. Выдача Верещагина была отвлекающим маневром, после чего Растопчин сразу покинул Москву.

[^^^]

Глинка Сергей Николаевич (1775/6-1847) — автор многочисленных героических драм, публицист, издатель «Русского вестника», переводчик басен Лафонтена, автор воспоминаний («Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1815»).

[^^^]

5

...как новый Эней отца своего Анхиза. — При падении Трои Эней вынес из горящего города старого Анхиза на своих плечах.

[^^^]

6

Филарет (1783-1867) — митрополит московский и коломенский, обладавший даром красноречия (прозван «московским Златоустом»).

[^^^]

...изгнанника, переселенного Грозным из Великого Новгорода в Коломну. - Иван III, имевший также прозвище Грозного, неоднократно усмирял Новгород, и в Коломну, в частности, были сосланы многие из знатнейших новгородцев.

[^^^]

...кистью Дова. — Дау (Dawe) (1784-1829) — английский живописец, создатель портретов в знаменитой «галерее 1812 года» в Зимнем дворце. С 1819 по 1828 г. работал в России, вызванный Александром I писать для галереи Зимнего дворца портреты русских генералов.

[^^^]

...пером Пушкина — имеется в виду стихотворение «Полководец».

[^^^]

...как искусный волтижер. — Волтижерные роты — во французской армии (1804-1868) и гвардии (до 1870) отборные роты, сформированные из отличившихся малорослых людей, которые не могли из-за роста быть переведены в гренадеры и карабинеры. Лажечников тут подшучивает над своим малым ростом.

[^^^]

Мекленбург-Шверинский, принц Карл (умер в 1837 г.), генерал-майор, шеф Московского гренадерского полка, состоял на русской службе в 1802-1814 гг., участвовал в Отечественной войне 1812 г. Георгиевский кавалер, награжден за храбрость шпагою.

[^^^]